

Р. БИНИОН

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ [1]

Подобное название — «европейская идентичность», возможно, звучит амбициозно, но в этом нет моей вины. Проблема в том, что оно может означать два совершенно различных явления. Во-первых, то, что определяет европейцев коллективно, их специфично-европейские общие черты, институты или практики, и выражается преимущественно в описательном, а не только в географическом, использовании слова «европейский». С другой стороны, «европейская идентичность» может обозначать чувства среди европейцев, отражающие их общее ощущение себя европейцами, а не только испанцами, шведами, бельгийцами или болгарами, — это разделенное чувство родства между ними, противопоставленное не-европейцам. Исторические корни именно этого, «национального», европейского смысла я попытаюсь проследить в данной статье.

Насколько все-таки странным является это чувство! Никакой иной континент, кроме Европы, не может даже приблизиться к подобному термину. Десятки гетерогенных народов, рассеянных по европейскому континенту, имеют чувство общей идентичности, которым не обладают представители никаких иных континентов.

Идея Европы, понимаемой как некое единство, как определенная экзистенциальная единица, уходит своими корнями в Римскую империю как своего рода прототип европейской исключительности, оставивший после себя заметный след, включая сеть дорог и правовых норм. И все-таки, римский прототип не имел с идеей Европы ничего общего. Хотя в начале III в.н.э. все свободные мужчины империи объединялись как граждане общим языком и правлением, Римская империя была средиземноморской, а не европейской державой; территориально она находилась настолько же в Европе, насколько в Африке и в Азии. Кроме того, прототип европейской идентичности менее всего мог быть политическим. После падения Римской империи Европа все время была полем сопротивления любому объединению политических суверенитетов. Франкский завоеватель Карл ближе всех подошел к

такому единому правлению примерно к 800 г. Хотя империя Каролингов географически содержала только Европу, эта часть Европы была даже меньше, чем в империях его римских предшественников. Иногда Карл действительно называл свое королевство Европой, но как и древние греки, которые ввели этот термин в обращение, он имел в виду не больше, чем просто земли, которыми правил. Более того, его королевство держалось на личной преданности, и конечно, не на «континентальном единстве». Вскоре после смерти Карла франкское королевство разделилось на три части между его преемниками, сохраняясь лишь в исторической памяти его восточной — Германской — части, которая в X в. заявила свои права на имперское наследие и оформилась как Священная римская империя германской нации, но пришла в упадок еще до 1806 г. Наполеон, попытавшись насильственно объединить континент, столкнулся с ростом национализма во всех странах. Кровавая попытка Гитлера объединить Европу на основе расизма, потерпела еще большее крушение.

Проекты для добровольного суверенного Европейского союза пока остаются проектами. Современный западноевропейский общий рынок, парламент, валюта сделали больше для продвижения к объединению, чем все предыдущие попытки конфедерации, но идеи о супранациональном суверенитете с трудом пробивают себе дорогу; свидетельством тому — решения французского, а затем и нидерландского электората. Следует признать, что европейское единство ни в коей мере не является политическим.

Часто говорят, что это неполитическое семейное чувство среди европейцев сложилось в средневековой Европе из неких экзистенциальных основ, которые распространились и породили уникальную европейскую цивилизацию: *lingua franca* или латынь, римское право, христианство, феодализм. Из них вырос особый европейский порядок, с дворянством, цехами, ярмарками, банковским делом, буржуазией, судопроизводством, романским и готическим искусством; университетами, героическими поэмами.

Проблема с аргументами в пользу этой предположительно все-европейской специфичности связана с ее преимущественно *западно-европейским* характером. Но еще большая ловушка в этих аргументах заключается в логике: если общие институты и практики могут генерировать и поддерживать общее сознание, то исчезновение их должно стирать это самое сознание. Например, во времена Римской империи единственным письменным языком в Европе вне греческого мира была латынь. Затем, хотя латынь и

распространилась в Темные века как язык Церкви, она все больше теряла значение по мере развития грамотности и уступала место народным языкам. Если бы именно латынь стояла за европейским сознанием, то европейское сознание было бы сознанием клира даже в годы наивысшего своего проявления, а потом и вовсе исчезло в конце XVIII в. вместе с упадком латыни. Или возьмем феодализм, еще более эфемерный, чем латынь: преимущественно западноевропейский, он шел вразнобой даже в своих региональных проявлениях. То же и с римским правом: местные законодательства основательно подточили этот камень в фундаменте Европы. Готическая архитектура, которую объявляют отличительной чертой всей Европы, с началом нового времени была отвергнута Европой как стиль уродливый и тяжеловесный, а готические соборы, хоть по-прежнему и являются метками европейского городского пейзажа, но крайне редко производят ощущение родства от города к городу, и уж тем более молчат там, где их нет. Что же касается тех компонентов предполагаемой средневековой модели «европейской цивилизации», которые выжили и процветают в новое время, например, университеты, банки, буржуазия, то они имеют тенденцию быть как раз такими, что менее всего напоминают о «европейскости». В целом, все еще совершенно не ясно, как чувство европейской идентичности может происходить от «европейской цивилизации» средневековой «выдержки».

Среди идентификационных черт средневековой Европы, историки чаще всего приводят христианство: единая вера, ритуалы, символика. Но ни исторически, ни концептуально христианство не является европейским. Оно было восточным мистическим культом, претендовавшим на универсальное значение, и распространилось от Азии к Африке еще перед тем, как достичь Европы. Когда римский император Константин крестился в начале IV в., именно в Азии он созвал совет с целью стандартизации христианских догматов. Более того, он передвинул столицу империи в Византию, «вершину» Азии, и Константинополь должен был стать символом связи между Европой и Азией. И уже после того, как римская империя приходит в упадок, христианство распространяется по Европе — вначале в имперских городах, затем медленно в сельских местностях и среди восточных язычников. Чем более процветало христианство в Европе и только в Европе, тем больше сама Европа игнорировала христианских императоров в Константинополе. Папа короновал Карла в качестве императора христианской Европы — в оппозицию к «профессиональным» христианским императорам, правящим в

Константинополе. В 1095 г. европейское христианство призвало к крестовым походам, чтобы освободить Святую землю от мусульман, а заодно — покорить Восточную империю. Предприятие окончилось неудачей, но в самой Европе христианство действительно завоевало больше земли. Именно в 1460-е гг. папа Пий II популяризовал прилагательное «европейский» как вариант «христианского»[2]. Термины *христианский* и *европейский* использовались как взаимозаменяемые до тех пор, пока космополитическое, секулярное Просвещение XVIII в. не отделило их друг от друга раз и навсегда.

Проповедуя духовное единение среди верующих, в реальности христианство, как правило, повсюду в Европе навязывалось властью и проникало в сердца новообращенных медленно и несовершенно. Широкие массы воспринимали его в виде всемогущего Бога, вездесущего дьявола, грядущего Страшного суда, всепрощающего сына Божьего Иисуса Христа, и бесконечно доброй Божьей Матери. С другой стороны, не было единства между западной и восточной частями христианства. Даже среди клира и рыцарей образ христианского мира едва ли приобретал континентальные контуры: римские папы убеждали в необходимости захвата Иерусалима и освобождения христиан в Турции, указывая на восток, не говоря уже о постоянных претензиях папства на духовное господство в мире в целом, *urbis* и *orbis*. Все же христианство, слабо совпадая с краями географической Европы, составило рудиментарное коллективное единство к 12-13 столетиям, но нельзя переоценивать базу этого единства: христианство было преимущественно внешним, а не внутренним идентификатором.

Гораздо большее значение в идентификации имели великие европейские культурные движения, идущие от Ренессанса, классицизма, Просвещения, романтизма. Из преимущественно среды западноевропейской элиты, они тем не менее охватили целый континент, проникая в простонародье. Народная культура также имела тенденцию пересекать национальные границы Европы. Впечатляющим символом этой трансевропейской культурной гармонии является появление в конце Ренессанса общей мажорной и минорной тональной структуры музыки, которая распространяется по всей Европе и нигде за ее пределами. Эти факты европейской культуры, начиная с Ренессанса и далее, были очевидными знаками начала европейского единства «духа». Но также очевидно, что эти знаки сами по себе еще не были причинами этого единства. Очевидно, что-то большее произошло в Европе — то, что дало

глубокий смысл континентальной идентичности, существующей несмотря на противоборство национализмов.

Этим «чем-то большим» была европейская травма, массовая травма эпических пропорций, Черная смерть. Эта страшная пандемия пришла из Малой Азии на Сицилию в конце 1347 г. и затем быстро распространилась по континенту. Хотя во время своего первого удара она еще не была собственно «европейской», психологически она связала европейцев еще за несколько столетий до окончательного осмысления ими «европейскости». Это ощущение принадлежности к Европе имело в своем источнике общую смертельную опасность, и таковым оно подспудно остается в наши дни. Тем не менее, категория «Европы» не принадлежит этому мрачному травматическому опыту непосредственно. Являясь прежде всего географическим термином, «Европа» использовалась реже, чем ее терминологический компаньон «христианство». И все же первые инфицированные идентифицировали себя как христианские жертвы и уже использовали рудиментарную европейскую идентичность, возникшую к тому времени как осознание собственного «христианства» в противоположность внешнему миру.

В 1347-1352 гг. континент, бывший территориально оплотом христианства перед лицом угрозы со стороны мусульман, был поражен смертельной болезнью с Востока. Она ударила внезапно, стремительно и без разбора по всем слоям общества, умертвив примерно каждого второго человека. Чума распространилась по всей Европе, закончив свое шествие в России, задолго до того, как остальные европейцы пришли к согласию, что русские — это тоже часть Европы.

Травматическое влияние Черной смерти имело европейский масштаб, психологически объединивший, даже если и не сразу, Европу. В своих рассуждениях я использую два концепта. Первый — понятие о психологической связности (когерентности) внутри группы, члены которой могут действовать совместно, не осознавая этого, если их коренные заботы совпадают. Психоисторики называют этот феномен *групповым процессом*. Хотя подобное явление признано в отношении групп животных, долгое время оно отрицалось в отношении людей, замещаясь понятием об индивидуальной, сознательной причинности человеческих действий. Тем не менее, психоанализ показывает, что даже действуя осознанно, индивидуумы могут преследовать подсознательные цели. На самом деле эти основания еще далеко не ясны. Я, написавший целую книгу по групповым процессам в истории [3], все же не знаю,

насколько, в физических терминах, автономные группы людей связывают и сохраняют память, или как они формируются (исключая нации – группы, формирующиеся открыто и осознанно). Европа, рожденная в середине XIV в., относится к типу групп, не осознающих своего существования. Люди, пережившие травму совместно, переносили внутрь группы свою внешнюю идентичность, какой бы слабой она ни была, выстраивая ее вокруг этой объединяющей их травмы и передавая ее своим потомкам. Эта внешняя идентичность Европы в 1347—1352 гг., была более христианской, нежели европейской, т.к. люди рассматривали появление чумы как наказание Господне за грехи, или возлагали ответственность за эти грехи на иудеев. Однако по мере продвижения болезни по континенту, в равной степени убивавшей христиан, евреев, язычников, святых и грешников, становилось ясно, что это не божья кара, не дело рук евреев, а смертоносная судьба, пришедшая извне.

Второй концепт, важный при отслеживании европейской идентичности, – это *травма* в ее широком терминологическом значении. В психиатрии принято связывать понятие trauma с опытом насилия, угрожающего жизни, вытесненного сознанием с различными патологическими последствиями. Психоистория предположила иные, более коварные эффекты травмы, самым важным из которых является то, что травмированный человек или группа имеет тенденцию вновь *переживать* свою травму, часто в скрытой или совершенно не имеющей отношения к первоначальному событию форме.

Черная смерть заново переживалась, но уже в локальных масштабах, при ее новых появлениях в Европе с почти теми же признаками, хотя и с общим сокращением смертности. Известно точно, что эта болезнь не делала различий между своими жертвами; ей были подвержены все: горожане и крестьяне, богатые и бедные, молодые и старые. Почти половина населения пережила первый удар, включая предполагаемую одну треть тех, кто был инфицирован. Оставшиеся в живых после первой волны болезни либо избежали ее вследствие естественного иммунитета, либо, переболев, приобрели ненаследственный иммунитет. Если бы и естественный, и приобретенный иммунитеты все еще сохранялись, когда мор опять был замечен на данной территории примерно десятью годами позже начальной пандемии, единственными новыми жертвами стали бы те, кому было меньше 10 лет. Принимая в расчет наследственный иммунитет у одной четвертой умозрительных

людей из рассматриваемого нами примера, средняя смертность населения второй волны составила бы «каких-нибудь» три четверти из тех, кому было меньше 10 лет. На самом же деле все источники указывают на смертность гораздо более высокую, отмечая, что жертвы были из первой волны, и практически безотносительно к возрасту. Мы не располагаем достаточными данными, чтобы делать выводы о том, какой вид иммунитета (естественного или приобретенного) терялся европейцами старше десяти лет. С другой стороны, сопоставимые рассказы летописцев говорят об отсутствии радикально новых проявлений болезни в последовательных региональных волнах. Ясно, что иммунитет терялся или подавлялся между эпизодами. Черная смерть не просто повторялась, на самом деле европейцы каждый раз коллективно переживали ее заново.

В своей новооткрытой коллективной идентичности, европейцы действовали синхронно, не осознавая этого. Такая «синхронность» ярко проявлялась в конвульсивном социальном насилии, «чуме восстаний», распространившейся от средиземноморского побережья через Францию к Фландрии, Англии на восток Европы, захватывая целый континент в середине 1370-х гг.—так же, как и первая волна пандемии поколением ранее. До 1347—1352 гг. в Европе случались спорадические местные народные протесты, не пересекаясь ни в календарном, ни в «идейном» плане. Чума породила множество форм насилия, которое было «христианизировано» и не имело лидеров: искупительные процессии, публично бичующие себя флагелланты, танцующие в болезненном унисоне хористы, ритуальные сжигания обвиняемых в чуме евреев. Болезненные религиозные приступы дополнились народными восстаниями с определенными политическими, экономическими и социальными целями прямо после первой волны пандемии. Эти кровавые восстания достигли крещендо своей популярности в середине 1370-х гг. с общим упором против социальных привилегий, иначе говоря, стремясь к равенству людей. Их эгалитаристский напор возвращает нас к теме чумы с ее социальным равенством в смерти — «Смерти-Уравнителю», как стали потом ее называть.

Европейцы переживали заново травматическую Черную смерть и фигурально, например, в широко распространенной ужасной Пляске мертвецов. Чума часто затрагивала нервную систему, приводя к мышечным спазмам *in extremis*, выглядевшим как жуткий танец (и *danse macabre*). Так называемая пляска святого Вита без сомнения была источником воображения о чуме как о Пляске мертвецов. Пляска вначале пришлась к месту во время

кладбищенских проповедей, затем вошла в поэзию и изобразительное искусство всей Европы. Ее можно найти на стенах церквей и склепов повсюду в Европе, позднее – в брошюрах, молитвенниках и т.п. Хотя Германия и Франция оспаривают литературное первенство на эти сюжеты, исследователи склоняются к приоритету юга Германии (приписывая доминиканским монахам его авторство) вскоре после 1348 г.; в то же время французский текст послужил прототипом для большинства иностранных имитаций. В своей основной ранней форме, сюжет включал фигуры римского папы, императора, или короля, которых забирали посланники ада в виде скелета или мумии, барабнящий, трубящий в трубу и глухой ко всем мольбам или протестам. Переживание, проигрывание травмы совершенно прозрачно угадывается в этом простом сценарии. Переконфигурируя реальные события в танце, музыке, стихах и образах, европейцы берут воображаемый контроль над массовой катастрофой, которая фактически произошла с ними. Стереотипические жертвы, охватывая все социальные слои, представляли не просто «кого-то», а «всех», все европейское общество в целом; и каждая жертва направлялась прямо в ад, кем бы она ни была. В такой фантастической христианизации чумы внезапная смерть была поднята на уровень универсального проклятия, ассимилируя Черную смерть как ужас перед неизбежностью смерти вообще, пытаясь подавить реальную смерть ее символическим присутствием в Танце мертвых. Этот сюжет возвращает нас к так называемому танцу любви, ритуальной телесной шалости во времена языческих похорон, предназначенной, чтобы противодействовать данной конкретной смерти. За своей мрачной внешностью Танец мертвых привнес сексуальный языческий кутеж в смерть – и действительно, постепенно мумии, скелеты или другие посланники смерти из Танца мертвых переросли в жутких шутов в популярных гравюрах. Вместе с этим, Танец мертвых превратился в Пляску смерти, в метафорическое изображение умирания, теперь уже полностью отделенное от ее изначального травмирующего референта, — еще до того, как эта пляска, казалось, ушла из повестки дня к 1530-м гг. — ушла до следующего своего появления.

Более поздний вариант Танца мертвых, который на короткое время даже затмил его по популярности, был сюжет «Смерть и Дева». Этот элементарный и жуткий мотив появился в немецком искусстве приблизительно в 1500 г. В своем наиболее наивном виде, он изображал обнаженную девушку, которую собирается схватить

или уже схватил посланник смерти –ухмыляющаяся мумия или скелет. Открытый и жестокий эротизм, лежащий в сюжете Смерти и Девы, бросается в глаза в гравюре 1517 г. Никласа Мануэля Дойча, находящейся сегодня в музее искусств Базеля: Дева переодевается с помощью отвратительного человека-скелета. Остальное художники предоставляли воображению зрителя. Подобным образом несла приглушенный намек на связь смертельного и сексуального известная народная рейнская поэма того времени «Смерть и Дева в цветущем саду». В том восхитительном рейнском саду мужская фигура «Мрачной Смерти» с косою не отпустит нежную Деву ни за какие любовь и деньги: черви ждут ее тело во всем его земном блеске. Довольно скоро это садистское, женоненавистническое ответвление Танца мертвых почти полностью исчезает. И весь художественный репертуар, порожденный Черной смертью, уходит в забвение. Любопытно, что в это же время окончательно уходит и сам мор.

Чума отступает в 1772 г., унося с собой 100 тысяч новых жертв там же, где она остановилась и в 1352 г. — в области Москвы. Физическое переживание мора европейцами уступило место его фигуральному пере-живанию. Спустя год после окончания чумы, с подложной средневековой народной баллады («Ленора» Gottfried Bürger), рисующей Танец мертвых, и затем новой подложной редакцией 1775 г. (подписано Matthias Claudius) народной поэмы «Смерть и Дева», все культурное наследие Черной смерти восстанавливается элемент за элементом. Все возродилось в изобилии оригинальных мотивов, в свободной игре фантазии, лишенной старых библейских резонансов или социальных привязок, т.к. казалось уже достаточно удаленным и лишенным реального референта —лихорадки, зловония и распада. Эротизм, скрытый в старом Танце мертвых, одно время табуированный из-за его связи с сюжетом Смерти и Девы, теперь захватил целую область культуры: в течение XIX в., смерть была эротизирована во всем искусстве, начиная с романтиков и заканчивая декадентами.

Впечатляет и повторение тех политических и социальных потрясений — «чумы восстания», которые прошли по Европе после собственно физической эпидемии Черной смерти: Европа отметила пятисотлетие Черной смерти эпохальной новой «чумой восстания», эпидемией революций, которые, как и раньше, вспыхнули на Сицилии в конце 1847 г. и затем охватили европейский материк, начиная с 1848 г.

Таковы были симптоматические последствия травматического опыта формирования Европы, связанные с Черной смертью: периодическое возвращение болезни, социальные и культурные переживания ее заново, и пере-живание этих переживаний, когда собственно инфекция уже угасла. Долгие, длиной в столетия последствия массовой травмы Черной смерти свидетельствуют о ее интенсивности. Она оставила после себя несмываемое родимое пятно в виде континентального европейского сознания. Проявления и последствия солидарности людей перед лицом общей угрозы невидимы простым глазом, но они становятся очевидны при рассмотрении их через призму группового процесса.

История не сдается. Настоящее Европы, включая неудачные попытки политической интеграции, отражает травматический исторический источник чувства европейской идентичности. Сегодняшняя инициатива политической интеграции, как и все ее предшественники, прибыла из Западной Европы, где чума нанесла первый удар. Более того, эта инициатива следовала за траекторией чумы с запада на восток. Сопротивление европейской интеграции напоминает о тех городах и областях Европы, которые объявляли о своем карантине в 1348 г. Широко распространенное инстинктивное недоверие европейцев к Турции как кандидату в федеративную Европу имеет свою ссылок травму 1347-1352 гг.: чума прибыла в Европу из этого региона. В целом, глубинное чувство принадлежности европейцев к Европе, со всей его утонченной гражданственностью, увязло в той же болезненности, в которой оно и родилось. Возможно, эта формулировка слишком резка? В конечном итоге, вся жизнь – сражение против смерти, и травматическое наследие Европы, уходящее корнями в 1347—1352 гг., при всей его болезненности, не представляет ничего сугубо специфического. Фактически оно может рассматриваться как сама модель травматической патологии, в опасном подчинении к которой находится человеческая история – тем более опасном, когда оно игнорируется.

Перевод с английского *О. М. Шутовой*

1. Текст лекции, прочитанной в Китайской Академии Социальных Наук (Пекин, сентябрь 2005 г.).

2. Burke Peter. Did Europe exist before 1700? // History of European Ideas. 1980. Vol. 1. P. 21—29.

3. Past Impersonal. Group Process in Human History. Northern Illinois University Press, 2005.